
Игорь МАЛЫШЕВ

РАССКАЗЫ

Все огни — огонь.
Х. Кортасар

РУССКИЙ ТАНЕЦ

Конечно, я никогда не попала бы в труппу Гала-театра, если бы не авантюрный склад моего характера. Впрочем, обо всем по порядку.

Да, я ходила на пробы в Гала-театр. Не раз. И ни разу не смогла произвести впечатление. Не брали. Я проваливала кастинг за кастингом. И тогда я пошла на хитрость. Авантюра. И в каком-то смысле маленькая подлость.

Долецкий — главный режиссер Гала-театра, слыл человеком невероятно придирчивым. Перфекционист до кончиков ногтей, к слову, всегда содержавший их в безупречной чистоте и ухоженности, он был к тому же человеком безупречной верности своему слову.

Я знала, что вечером в пятницу после окончания репетиции он в компании директора, или администратора, или, что бывало куда чаще, вместе с примой, неважно в женском или мужском обличье, может выпить чашечку кофе, эспрессо жуткой крепости и потрясающего аромата, сваренного из зерен, которые ему привозили из Гватемалы, за пределами дорогих и редких. В кафе, ютившемся в пристройке к Гала-театру, все знали Долецкого и, как и вся труппа, боготворили его.

Был августовский вечер. Горячо, жарко. Запах кофе и кондитерских забав тек по площади перед театром. Долецкий — в темных очках, белой рубашке, две верхние пуговицы расстегнуты, черные подтяжки, черные штаны и черные же, до блеска начищенные туфли. Напротив — «первые ноги» труппы Гала-театра, я уж и не вспомню, мужские ли, женские. Долецкий расслаблен, пьет эспрессо микроскопическими глотками. Он безупречен, его постановки безупречны, ноги напротив него безупречны. Он погружен в гармонию августовского вечера, где он, Долецкий, мировая звезда и умица, вершина и средоточие этой гармонии.

И тут появляюсь я. Я одета под стать Долецкому, безупречно, легко и стильно: белый верх, черный низ. Ни блузка, ни широкие брюки ни в малейшей степени не стесняют движений. Естественно, никакого нижнего белья. В правом ухе надежно закреплен беспроводной наушник. В наушнике Чайковский. Я разогрета, тело пластично и готово на все. Площадь залита, как медом, светом августовского заката.

Русский танец из «Лебединого озера». Если человеческая цивилизация однажды исчезнет, пусть от нее останется только Чайковский или даже только его «Лебединое озеро», и можно будет считать, что все эти миллиарды лет жизни на планете не прошли даром.

Игорь Александрович Малышев — писатель, поэт, драматург. Родился в 1972 году в Приморском крае. Образование высшее техническое, инженер-металлург. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», «Огни Кузбасса», «Роман-газета», «Москва». Автор восьми книг. Живет в г. Ногинске Московской области.

— Будь я проклят, если завтра это существо не будет служить в моей труппе, — так, мне передали, сказал Долецкий, досмотрев мой танец на наводненной солнцем площади.

Так я попала в Гала-театр. Галактику звезд Долецкого, как расшифровывали название льстецы, или галоперидол Долецкого, как выражались ненавистники нашего режиссера.

Потом Долецкий говорил, что у него, вероятно, случился солнечный удар, ничем иным он не мог объяснить свой импульсивный поступок. При ближайшем рассмотрении в стенах театра я оказалась вовсе не так хороша. Но дело тут не в Долецком. Солнечный удар действительно имел место быть, но случился он не с Долецким, а со мной. Живи я в Греции две тысячи лет назад, я несомненно стала бы служительницей храма Аполлона, такую власть надо мной имеет солнце. В его лучах, иногда мне так и хочется сказать, в его руках, я не принадлежу себе, меня ведет, несет, возносит некая иная сила, и я лечу, едва касаясь земли, парю в воздухе, отменяя все тяжелые земные законы. Я пух, я птица, я воздушный змей и облако. Меня не поймать, утеку сквозь пальцы, не остановить, пока я сама не скажу себе стоп. Точнее, пока солнце не скажет мне стоп...

Моя карьера в Гала-театре, как и следовало ожидать, не стала ни откровением, ни взлетом. Тень на краю сцены, одна из многих, лицо в мимансе.

...Я отказалась эвакуироваться. Никто особо и не настаивал. Лицом в мимансе больше, лицом меньше. Театр отправился в тыл, я осталась.

В еще одном жарком августе артиллерия обрушила крышу Гала-театра. Обломки рухнули в зрительный зал, на тот момент, к счастью, пустой. Из бетонного крошева торчали изломанные кресла и отчего-то прекрасно сохранившаяся роскошная хрустальная люстра.

Несколько дней я ходила в театр, расчищала совершенно непострадавшую сцену от бетонного и кирпичного месива, мела, будто дворник, пыль. За три дня привела ее в идеальное состояние, но мой дебют пришлось отложить, зарядили дожди, и я три дня просидела на поставленном посреди сцены стуле, много курила, однако не забывала и о деле. Точнее, о теле. Разминала его, растягивала, растирала в муку, превращала в податливое тесто, принимавшее по моему желанию любые формы. В память о далеком теперь Долецком пила много кофе. Не гватемальского, редчайшего и изысканнейшего, а самого простого, растворимого.

И вот снова август, снова вечер, жара. Небо горячее, блистающее, солнце слепит и поет. Я прячу в ухе наушник с Чайковским, выхожу на середину сцены.

Русский танец из «Лебединого», сцена Гала-театра, солнце. Я больше не я. Я часть солнца, я поток, я тень. Лучи проходят сквозь меня, разделяют, рассыпают мое тело на составляющие, уносят вверх, собирают заново. Меня больше нет, я солнечный ветер, поток света, бесплотные колебания в такт «Русскому танцу», я перо в руках Чайковского, я перышко, точка нотки, снабженная крохотным флагштоком. Я — музыка. Я — Лебединое озеро и травинка на его берегу.

«Русский танец» невелик, всего около четырех минут, но дай вам бог пережить хотя бы долю того, что пережила я за эти четыре минуты...

Прошел месяц, не больше, когда в сети замелькало видео, снятое с чужого беспилотника, который, как оказалось, висел надо мной все эти четыре минуты. Он снял весь танец от начала до конца и улетел, оставшись незамеченным. Умельцы наложили на видеоизображение звуковую дорожку. С произведением угадали.

Мой танец в обрушенном театре получил миллионы просмотров. И вышло, надо сказать, действительно прекрасно. Руины, провал вместо потолка, сияющие осколки хрустальной люстры. Балерина на сцене, по краям которой лежат серые и красные

камни. Я хороша. Я просто великолепна. Я двигаюсь, как солнечный луч во льду, как солнечный луч в аду.

В кадре то и дело мелькает подвешенная к квадрокоптеру граната, и это немного мешает просмотру.

ТЕАТР КУКОЛ

Сначала провыли сирены воздушной тревоги, потом были взрывы. Некоторые дальше, некоторые ближе. Потом у Театра кукол загорелась деревянная крыша. Да, это нонсенс, но в мире есть еще немало театров с деревянными крышами.

Итак, занялась кровля. Потянуло дымом. Из зала побежали зрители: родители, их дети, а с ними несколько впавших в детство пенсионеров. Им даже не пришлось забирать одежду из гардероба: стоял июнь, самые яркие дни лета, гардероб был пуст. За исключением легкого пальтишка, оставленного одной из впавших в детство старушек. Старушка покинула в панике здание, забыв пальтишко, и оно там сгорело.

Кукловоды и артисты, озвучивавшие кукол, тоже покинули театр. Очень быстро, побросав марионеток, будто старые тряпки.

Здание опустело, не осталось ни зрителей, ни кукловодов, ни осветителей, ни билетеров, ни охранников. Пусть на свете и нет ничего более противоестественного, чем пустой театр, он, как ни посмотри, относится к области «слишком человеческого» и потому по определению должен быть обитаем, но театр опустел. Опустели амфитеатр, партер, ложи бенуара, звукооператорская комната, балкон осветителей... Все.

Оставленное людьми пространство начал заполнять дым. Белесый, молочно-седой, душливый дым.

И тут случилось маленькое чудо дня солнцестояния: на сцене поднялся Арлекин. Да, марионетка в нелепом наряде из красных и зеленых ромбов поднялась и, волоча за собой на нитках крест, прошла по сцене.

— Эй, куклы! Что за человеческие слабости? Это люди могут бросить представление не доиграв. Но они всего лишь люди. А мы? Мы духи театра, мы не имеем права прерывать спектакль, пусть даже театр горит!

— Именно! — сказал, поднимаясь, Пьеро.

Вечный страдалец отряхнул снежно-белые рукава.

— Посмотри, на спине ничего не прилипло? — повелительно обратился он к Арлекину. Тот придирчиво осмотрел его одеяние, сбил изящными щелчками две-три соринки.

— Идеален, — заверил он Пьеро.

Из-за кулис вышел Карабас. Борода его запуталась в нитях.

— Твари. Так бросить нас, — буркнул он, пытаясь распутать бороду.

— Всего лишь люди.

— Вот именно. Никчемные создания. Одни подожгли театр, другие сбежали, бросив нас.

— Как бы то ни было, спектакль надо доиграть, — сказал Пьеро.

— Благодарю.

Карабасу наконец-то распутали бороду, и он обкрутил ее вокруг левой руки.

— Никто не помнит, римские патриции тогу через левую или правую руку перекидывали? — спросил он, поочередно глядя то на правую, то на левую руку.

Арлекин отставил сначала левую, потом правую руку, посмотрел на них, водя головой.

— На левой, по-моему.

В углу сцены зашевелился Буратино:

— Сбежа-а-али, — растягивая гласные, произнес он с оттяжкой.

Артемон протянул ему лапу.

— Вставать будем?

— Будем, — отозвался Буратино. — Артемон, твое человеколюбие тебя однажды погубит. Ты всегда так расположен помогать ближнему.

Артемон оглядел внутреннее пространство театра, постепенно заполняющееся дымом.

— Насчет «однажды» хорошо пошутил.

— Я создан на радость людям.

— И псам.

— И псам, — согласился длинноносый мальчишка.

Из-за кулис подтянулись Черепаха Тортилла, Дуремар, Тарабарский Король, полицейские, Папа Карло, Алиса, Базилио.

— Тут, смотрите, какая интересная коллизия назревает, — возвысил голос Сверчок. — Театр, судя по всему, горит и, судя по всему, стгорит.

Дым сквозь щели в потолке и вправду валил все гуще и гуще. Казалось, кто-то вдует его, с таким напором и уверенностью он теперь лез внутрь.

— Ветер снаружи, — сокрушенно заметил Карабас.

— Точно. Иначе дым сюда так не тянуло бы, — согласилась Алиса, глядя вверх.

— А я, знаете, всегда был тайным пироманом, — сказал вдруг Дуремар. — С одной стороны все мои интересы в глубине старого пруда, среди пиявок и тритонов, а с другой — в глубине души я хочу торжества пламени и всеобщего очищения в огне.

— Заткните его кто-нибудь, — неприязненно посмотрел на него Карабас. — Иначе я за себя не ручаюсь.

— Сам заткнись! — фыркнул Дуремар.

— Вот-вот! Только полоумного пиявочника мы еще не выслушали! — взвизгнула Мальвина.

— Прекратите ругань! — гавкнул Артемон.

— Заткнись, пес! — истерично закричала Мальвина. — И не смей на меня гавкать! Женщина выше любого пса!

— Но не выше суки! — желчно процедил Дуремар.

— Что вообще происходит? — посмотрел на Базилио Карабас.

— Мир сошел с ума, — сказал кот. — Эти безмозглые создания, даже когда небо будет падать на землю, не прекратят грызню.

— Ненавижу кукол, — сказал Карабас, отворачиваясь.

— Сейчас слушать такое особенно неприятно, — заметил Базилио. — Нам заповедовано любить друг друга.

— Никогда не завидовал верующим в кукольного Господа.

— Я тоже.

— Что тоже?

— Никогда не завидовал.

— Тогда почему?.. — Карабас неопределенно указал на Базилио рукой.

— Просто верю, и все.

— Ибо безумно?

— Ну вроде того.

— Вы что несете? — рявкнул Пьеро и топнул ногой так, что сцена вздрогнула. — Вам жить осталось всего-ничего, а вы тут собачитесь. Извини, Артемон.

Пьеро слегка наклонил голову в сторону пса.

— О, смотрите-ка, праведник в нашем стаде! — повернулась к Пьеро Алиса. — Отстань от них. Пусть окончат свои жизни, как захотят.

— Ты, Алиса, всегда была проводником хаоса в театре, — холодно посмотрел на нее Пьеро.

— Да хоть бы и так? — ощерила зубы лиса. — В театре все роли равноценны. А раз так, молчи, молчи, праведник. И вообще, что это за странное выражение «проводник хаоса»? Как ты вообще представляешь себе хаос и порядок?

— Порядок — это когда каждая кукла играет отведенную ей роль, — твердо заявил Пьеро.

— А хаос?

— Хаос — когда куклы начинают действовать, как им заблагорассудится.

— Прямо индийские касты, — заметил Карабас.

— Но это правило верно только во время спектакля, разве нет? — продолжила допытываться Алиса.

— Оно верно всегда, — произнес Пьеро.

— А сейчас, когда театр горит? — спросил Буратино.

— Думаю, и сейчас, когда театр горит, нам надо продолжать представление.

— Зачем? Тут нет зрителей! — сказала Алиса.

— Спектакль выше зрителей. По большому счету, спектаклю, как обряду, ритуалу, вообще не нужны зрители, — сказал Пьеро.

— Спектакль выше зрителя?

— Конечно, — подтвердил Пьеро.

— То есть театр существует сам по себе? — спросила Алиса.

— Конечно, — с пафосом ответил Пьеро.

— Да, — согласился Сверчок.

— Верно, — произнес Карабас.

— Так, — мяукнул Базилио.

— И ты, Базиль? — спросила Алиса, с неудовольствием посмотрев на кота.

Кот отвернулся, не сочтя нужным отвечать.

— Откуда начнем? — спросил Пьеро. — Точнее, продолжим.

— С момента, когда Карабас собирается кинуть Буратино в камин, — сказал Сверчок. — Именно тогда зрители покинули зал.

— Тогда, — подтвердила Тортилла.

— Итак! — громко провозгласил Пьеро. — Начинаем со сцены, когда Карабас собирается кинуть Буратино в очаг.

— А что это ты распоряжаешься? — спросил кто-то из сгустившегося до ватной плотности дыма.

— Кто спросил? — поинтересовался Пьеро.

— Я! — из дыма, окутывающего сцену, вышел Карабас.

— А ты разве против?

— Нет, но почему именно ты распоряжаешься?

Пьеро приблизился к нему и внезапно со всей силы ударил деревянной головой в лицо Карабаса, да так, что у того отлетел нос и ускакал по сцене, растворившись в дыму.

— Потому что я здесь самый решительный, — сдвинув нарисованные брови, сказал Пьеро.

— Черт с тобой, — согласился Карабас, даже не ошупав обломок носа, белеющий свежей древесиной.

— Поехали, — сказал негромко Пьеро. — Скоро здесь станет так жарко, что загорятся наши деревянные руки, ноги и туловища. Но мы и в огне, в пламени будем играть наши роли. Нас создали для этих ролей, и мы не предадим наших создателей.

Спектакль пошел своим чередом, марионетки двигались по сцене, волоча за собой кресты, говорили заученные фразы...

Пока на них, уже совсем неразличимых в дыму, не упала горящая крыша. Горели кресты, нити, сшитая из легких тканей одежда, плавилась пластмассовые ресницы, искусственные волосы.

— Продолжать представление! — кричал из дыма и пламени Пьеро, у которого уже не было ни колпака, ни рукавов, ни бровей. Да и лица, по сути, тоже не было. Только рот, кричавший в горячее горящее пространство.

— Продолжать представление...

...Над развалинами Театра кукол ночь. Луна, всегда прекрасная и удивительная, сегодня смотрит грустно, лик ее затуманен дымами.

Черная груда на месте Театра кукол выглядит неподвижным монолитом, и лишь дымки, то тут, то там вырывающиеся из развалин, разоблачают это ощущение.

В обломках и развалинах шевеление. Что-то небольшое и упорное раскидывает камни, медленно, с упорством насекомого, пробиваясь наверх. Наконец откатывается обломок кирпича, и из завала вылезает обгоревшее до полной черноты и страшной хрупкости фигурка. Это Буратино. Нос его сгорел, руки и ноги — черные былинки, лица нет.

Он выбирается на поверхность, садится на прокопченный кирпич и смотрит на небо обугленным лицом. Кажется, он улыбается.

«СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ»

Я давно уехал из городка N, но связи с оставшимися в N друзьями не потерял. Больше того, с некоторыми благодаря скайпу стал встречаться даже чаще, чем когда жил в городе. Например, с Виктором, журналистом «N-ских вестей» — крошечной газетки, выходящей раз в неделю и на одну половину состоящей из местных новостей, а на другую — из рекламных объявлений. В штате трудилось два человека — Виктор, лобастый бородатый харизматик под шестьдесят, и пацанчик лет тридцати.

С Виктором мы пили пиво по скайпу чуть не каждую неделю. Он рассказывал местные новости, неизменно с саркастически-циничными комментариями, а я ему о своем столичном житье-бытье. Нет, он не завидовал мне, перебравшемуся в Москву, он давно выяснил уровень своих возможностей и смирился с тем, что выше не прыгнет.

— Что нового? Новости... Как говорил Иван Демидов в «Музобозе»: «А новостей на сегодня больше нет».

Салютовал мне бокалом, пить пиво из горлышка он считал плебейством, и усмеялся. Нет, он, подобно многим старикам, не закичивался на одних и тех же старых шутках, но это выражение, «а новостей на сегодня больше нет», любил.

Журналистом он был хорошим, и слушать его, как любого хорошего журналиста, всегда было приятно.

— У нас тут чудо в районе образовалось. Можешь себе представить? — обронил он как-то во время одной из бесед под пиво. — Ангел.

— Кто?

— Ангел, — устало повторил он. — Ходит, светится и светит.

Я ждал циничных комментариев, но Виктор был расслаблен и задумчив.

— Человек-светлячок? — решил я помочь ему с цинизмом.

— Да, что-то вроде того, — рассеянно согласился он.

— «Он живой и светится». Рассказ Драгунского из цикла «Денискиных рассказов».

— Да помню я Драгунского.

— Их два, Драгунских.

— Уже два?

— Да, как Дюма. Отец и сын.

— А... Нет, ты понимаешь, там действительно что-то странное. Бегает по вечерам и ночам у нас по городу и окрестностям нечто странное. Человек — не человек... Вот как ты сказал, человек-светлячок.

Позвонила недавно старушка из Карабанова. Говорит, шла домой вечером из магазина, подошла к калитке. Стала доставать ключи и уронила в траву. А у них там темно, как в затопленной подлодке. Она шарит в траве, найти не может. И вдруг — свет. Перед ней голый мужик и весь светится. Подходит. Потеряли что-то, говорит, бабушка? Светится. Ярко, даже слепит, но она говорит, разглядела, что голый совсем. Да вот ключи обронила, говорит бабулька. Тот подошел, руку опустил и достает из травы ее связку ключей. Она взяла, потом говорит, не помнит, как и дома очутилась. Испугалась, конечно. А утром нам позвонила. Местные старушки-подружки надоумили. Сказали, в милиции не поверят, а в газетах такое любят.

Я, честно говоря, посмеялся тогда, но про себя, конечно. Бабульку заверил на полном серьезе, что рассмотрим и изучим вопрос со всей тщательностью. А она мне вторяет, то ангел господень был, ангел.

Конечно, я пальцем не пошевелил после ее звонка. Наши бабульки такое иногда рассказывают, что никакому Лавкрафту не снилось.

Ну, и тут просто забил на сигнал, и все.

Проходит день, может, два, жена рассказывает. У внучатой племянницы ее троюродной тетки подруга однажды поднимается к себе на пятый этаж. В подъезде ни одной лампочки, но она свой подъезд знает до последней ступеньки. Идет, слышит, дверь внизу хлопнула. Ну, хлопнула и хлопнула. Но видит, снизу свет забрезжил. Она поднимается, а свет все ближе и ближе, ярче! И шлепанье босых ног по бетонным ступеням. Она быстрее, и он быстрее. Добежала до двери, и тут все вокруг осветилось! Оборачивается, видит, стоит на нижнем пролете человеческая фигура и светится. И говорит глубоким бархатным голосом: открывайте дверь, я посвечу. У нее руки трясутся, открыла дверь, вошла внутрь. Смотрит в глазок, а там свет все тише, тише, и вот уже полная темнота. И дверь внизу хлопнула.

— Интригующе, — признал я.

— Еще как.

Виктор набил трубку, не спеша раскурил. Пыхнул три раза густым белым дымом.

— Дальше — интересней. По городу поползли слухи о сияющем ангеле.

— Что логично.

— Ага. Логика масс. Массы любят яркое, как вороны. А тут целый ангел.

Он на секунду исчез из кадра и вернулся обратно с бутылкой темного стекла.

— «Jameson»? — угадал я.

— С «Guinness» лучше нет.

Собеседник плеснул виски в пиво, с удовольствием отпил, вытер седые усы и бороду.

— Как там у Шолохова? «А то дюже трезвые мы с тобой для такого разговору».

Виктор хохотнул и тут же почти без перехода поморщился.

— Там и вправду такая сложная тема.

— Ну так давай рассказывай.

Он отпил ирландской смеси.

— Потом менты, — Виктор никак не мог привыкнуть к тому, что милиции больше нет, — в видеорегистраторе одной машины обнаружили видео, как прямо перед ДТП по двойной сплошной бежит светящийся человек. Светится ярко, слепит. Голый и светящийся. Дичь. Но на галлюцинации водителя не спишешь. Видеотехника.

Потом таких записей с видеокamer становилось все больше и больше. Как ночь, по городу ходит светящийся человек. Причем видно, что голый, никакой одежды на нем, даже трусов.

- Все правильно. Какие у ангелов трусы?
- Типа того.
- Может, фосфором натерся? — сделал я предположение. — Как собака Баскервильей?
- Нет. Свет яркий, пышащий. Все вокруг освещает.
- Какие-то современные технологии?
- То есть в ангела совсем не веришь?

Виктор, улыбаясь, выдохнул в камеру дым.

Я дождался, когда дым рассеется.

- Нет. Не верю.

Виктор затаился раз, другой, понял, что табак выгорел, и принялся выбивать трубку о край пепельницы, которой я, впрочем, не видел в кадре.

— Так и оказалось. Его задержали менты на шоссе. Он опять бежал по разделительной полосе. Один из ментовского экипажа набожный оказался, стал креститься, молиться, каяться в грехах. Пообещал, что уйдет из милиции... А другой остановил машину, догнал «ангела» и привез в отделение. Тот набожный мент все это время охал, уткнувшись в коленки, и каялся за то, что они арестовали ангела. Просил простить его и напарника.

Виктор отпил половину стакана и снова принялся набивать трубку. Делал он это, как и все, что делал, невероятно красиво и «вкусно». Будь я режиссером, я бы снимал его без остановки. Виктор все делает стильно: курит, пьет пиво, здороваётся, прощается, отказывает в просьбах, принимает подарки...

— У меня в ментуре есть свои люди, маякнули. Я приехал. Заплатил немного, просто за послушать-посмотреть.

Виктор допил оставшуюся половину бокала. Немедленно соорудил новую дозу. Все в той же пропорции: двести пятьдесят пива, пятьдесят виски.

Когда он принялся все так же не спеша снаряжать очередную трубку, я не удержался:

- Вить, ну не тяни.

Виктор самодовольно поглядел на меня.

— Там дикая история вскрылась. Маменькин сынок, тихий, скромный. Воцерковленный. Дома иконы, церковные книги, ладан, лампы. Прихожанин тихвинского храма. Вместе с матерью.

Он снова достал трубку.

— Потом мать умирает. Он вспоминает, что она звала его «мой ангел». Он поздний ребенок, она в нем души не чаяла. До сорока лет... До сорока лет, — воскликнул Виктор, — встречала его с работы. Сорокалетнего мужика с работы встречала мать! И называла «мой светлый ангел».

Он с неким ожесточением поджег табак в трубке, сделал несколько сердитых затяжек.

- Потом мать умирает. И знаешь, что он делает? — спросил Виктор.

— Нет.

— Он продает квартиру...

— И?

— Делает пластическую операцию! Вживляет себе под кожу сотни лампочек... То есть светодиодов, вместе с проводами. Ты же знаешь, сейчас себе что хочешь можно вживить. Хочешь, новую грудь, хочешь, рога, хочешь, шипы. Вот и он вживил светодиоды. Сотни! По всему телу, кроме лица, кистей, того, что нельзя спрятать под одеждой.

- Это стоило целой квартиры в Подмоскowie?

— Нет, там еще осталось что-то, но немного. Пластика довольно дорогое удовольствие.

Он замолчал. Молчал и я, пытаясь осмыслить услышанное.

- И что с ним менты сделали? — спросил я.

- Что? Он заплатил штраф за беготню по разделительной.
Я понимал, что это не может быть концом истории, и именно поэтому спросил:
— И что? Все, конец?
— Нет. Менты его отпустили. На время ситуация утихла. Потом до меня, у меня же везде связи, доходит инфа, что нашему «ангелу» удаляют вживленные под кожу «фонарики». У него там подкожные соки разъели изоляцию проводов и светодиодиков, и это угнетающе сказалось на его самочувствии. В общем, вырезали гирлянду.
— Перестал светиться?
Виктор кивнул.
— Врачи говорили, пока везли его на операцию, все повторял: «Мама, прости». Я потом приходил к нему.
— И как?
— Ужасное зрелище. Он много плакал. Оттого, что больше не «светлый ангел». Ни для кого.

ДИОСКУРЫ

Это была моя идея, сделать тату. Или его? Впрочем, неважно. Идея возникла, сделали. Мы близнецы. Родились в один день — первый день лета. Мы не просто близнецы, мы — Близнецы. По знаку зодиака. Вещь вроде глупая донельзя, а с другой стороны, звезды. Явно выше нас и ближе к... Богу? В Бога мы как-то не очень верили. Звезды и созвездия были ближе, понятнее. Решили наколоть на предплечьях созвездия Близнецов. На внутренней стороне, так, чтобы когда поднимаешь руку и с треском соударяешься с рукой брата, созвездия соединялись, накладываясь одно на другое, будто одно целое.

Я, по-моему, предложил. Или он? Но красивая же идея? Красивая. Сделали.

А потом взросление. Самостийность какая-никакая нарисовалась. Сначала никакая. Потом о-го-го! какая.

На этой почве и рассорились.

Я ему: «Смотри — история! Братство, единство!» Он мне: «Смотри — история! Кровь, войны, унижения». Так и поссорились. А тут майдан, Крым, майдан, война. Я туда, он сюда. Он книжник, домосед, начитался, насмотрелся в телевизоре, проникся. Я же больше с парнями во дворе. Там другие разговоры. И уж никогда на мове. Ругались дома страшно. Мать не знала, как успокоить. Драться не дрались, но пару раз я думал, что приложу его. При этом видел, как он на нож на столе поглядывает. Тихий-тихий, а характер у нас обоих не дай бог. Нет, не подрались. Просто в один момент разошлись в разные стороны. Оставили мать одну.

Война. Мы в них стреляем, они в нас.

Он присылает мне фото, как созвездие Близнецов в трезуб перебил. Причем, что самое обидное, и созвездие читается, и трезуб.

Я выбесился, тоже свое тату перебил. Не мудрил, просто попросил надпись «Россия» сделать. Но так, чтобы звезды читались безошибочно.

Бросало меня жестко. И после «градов» меня, похожего на дуршлаг, сестрички выхаживали, и после «хаймеров». Девкам говорю, что сквозь меня железа прошло, сколько сам вешу.

Брат слал фото, тоже весь в дырочку.

Думаете, не болело сердце? Еще как болело. Просыпался ночью в кошмарах, снилось, что брата своими руками убил и гляжу в потухающие его глаза. Потом слышу

крик, оборачиваюсь, а там мать стоит и на нас, мертвого и живого, смотрит. И чуть рот себе от горя не рвет.

В таком поту просыпался, что вонял потом, будто скот после перегона.

Просыпался, кричал, наверное, что-то, потому что бойцы в землянке потом успокаивали меня. Матом в основном успокаивали. Но беззлобно, чтоб угомонился.

— Извините, братва, — говорил, а сам все татуировку на руке ощупывал.

И там сквозь «Россию» все изначальные звезды прощупывались. Не знаю, может, их как-то поглубже забили, не понимаю я в этом ничего, но чувствовались они, чувствовались.

Люди баранов, чтобы заснуть, считают. Я всю ночь звезды созвездия Близнецов пересчитывал. Повторял: Поллукс, Кастор, Альхена, Тейт Постериор, Мебсута. У остальных, как нам сказали, названий не было. И так, пока не засну. А не засну, так просто до утра.

Под обстрелами, в тишине ожидания атаки, в отступлении, при пересечении поля, ожидая, что каждую секунду из-под ног может взлететь столб пламени, я думал о брате.

Один из звездных братьев, не помню уже, Кастор или Поллукс, был бессмертным, но когда брат умер, пожертвовал бессмертием. И с тех пор оба брата проводили один день в аду, другой на Олимпе.

Мы умерли под Артемовском. Или, как сказал бы брат, под Бахмутом.

* * *

В мире существует огромное количество необычных коллекций. Не всегда легальных. Но в коллекционировании необычных вещей есть необычный кайф.

В одной далекой стране коллекционер татуировок показывал, не всем, конечно, только самым близким друзьям, в которых был уверен, свою коллекцию. Для этой коллекции в его замке была выделена секретная комната, о которой знали только прямые наследники. И традиция передачи этого секрета шла чуть ли не с двенадцатого века.

С особой гордостью хозяин представлял собственные приобретения. Парные татуировки ценились в подобных сообществах всегда. Но даже и тут случай был совершенно особый. Гостям показывали два лоскута человеческой кожи, на одном из которых был нарисован трезуб, символ некоего государства, на другом надпись на варварском языке. Восхитительным было то, что и там, и там проступали звезды созвездия Близнецов. И настолько четко, что приложи их друг к другу, они совпадали до полной тождественности. Хозяин уверял, что перед гостями татуировки близнецов и новая реинкарнация легенды о братьях Диоскурах.

БИБЛИОТЕКА

Передохнуть остановились в заброшенном пансионате «Кооператор». Прекрасное место. Тут бы фантастику снимать.

В здании ни единого целого окна. Три этажа. Рядом недостроенный бассейн. Хотя, может, и не бассейн, слишком сложно смотрелись эти стены, бетонная подложка, торчащие в небо ржавые пучки арматуры. Нет, все-таки, наверное, не бассейн, слишком много перегородок, оканчивающихся ничем колонн и хитросплетений арматуры. На половину залитый водой, с плавающей по поверхности ряской и беззаботно снующи-

ми в мелкой и оттого прогретой воде головастиками. Клубки тины поверх бетонной подложки, торчащие из изумрудной ряски ржавые арматурины... Тут можно было бы снимать продолжение «Сталкера», если бы у «Сталкера» было возможно продолжение.

Идиллия... Развалины, сосны, солнце, покой. Подобные сюжеты любили живописцы девятнадцатого века. Правда, натурой им служили итальянские развалины. Наш век жестче, и наши развалины строже, угрюмей. Но это не значит, что они менее красивы. В чем-то даже более. Советские развалины мужественней. А в том, что этим руинам лет тридцать, сомнений не было.

Все это я успел заметить на бегу. Мы пробежали мимо «бассейна» и нырнули в остатки «Кооператора», лишённые не только окон, но и дверей.

Выставили часовых. Остальные получили команду отдыхать. На отдых мне хватила получаса и банки тушенки. Потом я пошел бродить по «заброшке». Я люблю «заброшки». С самого детства мне нравился запах покинутого человеческого жилья. Тут можно, конечно, сделать заключение о моей склонности к саморазрушению, но я знаю, что, соприкасаясь со следами гибели, я получаю заряд жизнелюбия. Сообщающиеся сосуды жизни и смерти соединены весьма любопытными способами.

В подвале обнаружился зал. Со сценой, остатками занавеса, обвисавшего гнилыми ключьями, амбразурой кинобудки на дальней стене и остатками железных когорт стульев, из тех, у которых сиденья поднимаются вертикально, когда зритель встает.

Но главным великолепием этого зала был паркетный пол. Влажность и воды, заливающиеся сюда во время таяния снегов, превратили его некогда ровную поверхность в волнуемое море. Дубовый паркет пошел волнами высотой в метр-полтора. Пол не нарушил целостности, паркетины остались сцепленными одна к одной. Я бегал с волны на волну, и пол держал меня, как бетонная конструкция. Я подпрыгнул на гребне, волна выдержала, не шелохнувшись.

— Хей-хей-хей! — крикнул я, и эхо заметалось по залу, покатило кубарем по паркету, теряясь в темноте и неизвестно по каким физическим законам заставляя качаться остатки занавеса.

Остальные помещения пансионата «Кооператор» оказались не в пример скучнее подземельного концертного зала.

Я блуждал, открывая комнату за комнатой. Остатки разошедшейся дээспэшной мебели, отсутствие окон, тряпки, сухие листья, пыль.

Потом я забрел в библиотеку.

Вы ходили когда-нибудь по слою книг в метр толщиной? Я ходил.

Я больше читатель, чем боец. Глаза мои загорелись. С самого детства я не могу спокойно пройти ни мимо вывески «Библиотека», ни мимо книжного магазина, ни мимо лотка с разложенными на нем книгами. Это были точки притяжения, точки самой преданной и беззаветной любви.

Я замялся, не решаясь ступить на... На книги. Мое воспитание не готовило меня к хождению по книгам. Я преодолел тонкий слой культуры внутри себя и вошел внутрь библиотеки, в которой все, прежде стоявшее вертикально, теперь лежало строго в горизонте.

Книги под ногами издавали странный звук. Не скрип, не шорох... Это звук, не имеющий аналогов. Звук книг под ногами.

Я сел, стал брать близлежащие издания.

Очень много нашлось из серии «Классики и современники». Из серии «Иностранная литература» не меньше. Но больше всего, конечно, книг без серий, самых пестрых обложек, форматов, размеров.

Я лег на спину, растянулся во всю отведенную мне природой длину. Брал на ощупь книгу за книгой, открывал, разглядывал.

Очень много советской литературы от не самых видных, а то и вовсе не известных мне авторов.

Катаев... Помню, в школе проходили.

Расул Гамзатов. Интересно, помнят ли его где-то еще, кроме Дагестана? Хотя «Журавли» — это песня навсегда.

Чингиз Айтматов. Слышал, что не поработай советская редакция, был бы плоским и скучным. Но сделали. Советский продюсерский проект. Впрочем, может, это только слухи? Книжки же, как ни посмотри, реально сильные. Ни один редактор такой силы не накачает, если в тексте изначально ее нет.

Леонов, Личутин, Асадов...

Козлов, Смирнов, Вишневский...

Иванов, Белов, Распутин...

Крапивин, Васильев, Орлов...

Я перебирал книжки, укладывая их себе на грудь, живот или просто рядом с собой, и вскоре обнаружил себя наполовину погребенным под ними...

...Когда мы уходили, в библиотеке разгорался устроенный мною пожар. Мы уходили все дальше от разрушающегося пансионата. Из окон библиотеки рвалось в небо пламя и вверх летели хлопья сожженных книг. Прямо к луне и звездам, словно сразу в рай.

Качались над нами высокие стволы сосен, плыл в небесах пепел советской литературы.

Тени от папоротника скользили по земле.

В броске ДРГ каждые десять граммов в твоём рюкзаке могут превратиться в разговор если не всей группе, то лично тебе.

Я нес в рюкзаке захваченную из сгорающей библиотеки книжку «Белеет парус одинокий». Катаев. Одессит. Мы читали ее в детстве на уроках литературы. В пятом классе мы еще не знали, что нам предстоит.

В христианской традиции записочки, что пишутся для поминовения усопших, не выбрасываются на помойку, но сжигаются.

Это я поджег библиотеку.

Смерть в огне — не смерть.

Тем более что у Бога мертвых нет.

ПЕР-ЛАШЕЗ

Я оказался в Париже на четыре дня. Два дня конференции, посвященной Гоголю, два дня докупил из собственных средств.

Город, если уж решил его узнать, надо узнавать ногами. Я бродил по двенадцать часов в сутки. Стер ноги, и это не фигура речи, до кровавых мозолей. Домой возвращался с ощущениями, будто у меня в кроссовках смесь битого стекла и колючей проволоки. Однако ни о чем не жалел. Париж стоил моих страданий.

На Пер-Лашез многое странно. На десяток ухоженных склепов попадает один, пришедший в такое романтическое запустение, что не пройти мимо. За проржавевшими дверьми каменные обломки, сухие, думаю, не только прошлогодние, но и позапрошлого года листья. Глен, темный камень. Лавкрафт и все, как мы любим.

Купил на входе схему кладбища. Искал, по большому счету, двух человек. Джима Моррисона, поскольку уже лет двадцать к тому моменту был фанатом «Doors», и Нестора Махно, потому что его фанатом был мой лучший друг.

На могиле Джима горели свечи, стояла бутылка вина, а в остальном все выглядело как-то непримечательно. Слишком непримечательно для рок-звезды нескольких поколений. Никакого сравнения с могилой того же, допустим, Оскара Уайлда. Зацелованной бесчисленными оттенками губной помады, со скульптурой, безумной фантазией ваятеля-демиурга, у которой, по легенде, неистовые гомосексуалисты отломали каменный член. Экспрессии этого памятника хватило бы на нескольких рок-звезд.

Я не сразу понял, что у Махно нет могилы. Пристанищем Нестора Ивановича, анархо-коммуниста, несколько лет будоражившего весь юг взбаламученной Гражданской войной России, стала ниша в колумбарии. Поднимаясь на второй ярус колумбария, я увидел надпись, от которой вздрогнул, не сразу поняв, что или, вернее, кто передо мной. «Isadora Duncan 1877—1927». Изадора, Айседора... Жена Есенина, который всегда был самым искренним поклонником Махно. История подчас вяжет удивительно красивые узелки.

На бронзовой плите, за которой укрыт прах Махно, полупрофиль анархо-коммуниста и годы жизни героя. Год рождения неверен. Он из официальных документов, а официальные документы Махно подделаны.

На литой бронзе скотчем приклеены увядшие тюльпаны — уродливые пестики, и половина купюры в одну гривну. Чтобы знали, от кого цветы. Чтобы не перепутали.

Где Махно и где деньги? Лепить деньги на могилу анархиста, может ли быть большее унижение?

Это был две тысячи девятый год. Не было еще присоединения Крыма, не было войны. Было только уродливое самостийное желание заявить о своем существовании. О том, что Махно вешал самостийщиков, самостийщики не подозревали.

Местечковые комплексы неполноценности легко перерастают в ненависть ко всему, чуть более значительному. Отколовшись, частица не стремится стать больше целого. Она мечтает уничтожить или присвоить целое.

Я сорвал вялые стебли с бронзового литья. Отнес к ближайшей урне, куда и отправил вместе с обрывком нелепой купюры.

«Батяка бы туда еще и плюнул», — подумал я.

На кладбищах всегда продают цветы. И я отправился на поиски. Путь мой пролегал мимо крематория Пер-Лашез. Четыре трубы заведения были черны и жирно лоснились в свете весеннего парижского солнца. Этот жир бросался в глаза и пугал. Хотя и, если честно, притягивал взгляд. Через вершины этих труб в парижские небеса улетело бог знает сколько человек. Одним из них был Нестор Иванович Махно. Поданный Российской империи, всю жизнь писавший и думавший на русском языке, на могилу которого теперь лепят аляповатые украинские флаги его враги.

История — причудливая наука, и ее героям не позавидуешь. Мертвецов перетягивают то под одни флаги, то под другие. Мертвец в истории себе не принадлежит. Да и никому не принадлежит, по большому счету. Мертвый беззащитен, как вода в проруби. Каждый может сделать его при желании своим врагом или союзником.

Я купил три гвоздики, ярко-красные, какие только и могли бы обрадовать революционера Махно, и прикрепил их к бронзовой плите колумбария.

Уходя, снова остановился у плиты Айседоры Дункан.

— Привет из России, — сказал я.

К ее могиле никто не принес ни цветов, ни купюр.